

Валерия Зеркальная

ПО ЗАКОНУ КРОВИ

Книга 1. Пленники рока



18+

Валерия Зеркальная

По закону крови

<https://litres.ru/74265184>

SelfPub; 2026

Аннотация

«Русь. XII век. Время, когда половецкий плен ломал сильнейших, а подмена детей решала исходы княжеских войн. Сага о героях, впитавших в себя две великие и чуждые друг другу культуры. Смогут ли они найти свой истинный путь, когда брат пойдет на брата, а Степь потребует вернуть долги?»

Содержание

Глава 1	4
Глава 2	16
Глава 3	29
Глава 4	40
Глава 5	52
Конец ознакомительного фрагмента.	65

Валерия Зеркальная

По закону крови

Глава 1

Апрель. Туман стелился по бору серым волчьим мехом, цепляясь за мокрые еловые лапы. Анна, княгиня Черниговская, стояла у слюдяного окна, вглядываясь в мутную мглу. Стекло, неровное и пузырчатое, искажало мир, превращая деревья в дрожащие тени. Позади осталась ночь с Мстиславом Юрьевичем — тяжелая, пахнувшая воском и женским теплом. Впереди ждала дорога. Сердце билось глухо, словно под могильной плитой тоски: она оставляла мужа и четырехлетнего Бориса в каменных стенах кремля, отправляясь в далекий уезд навестить престарелых бояр-родителей.

Обоз тронулся, когда солнце еще не выбилось из-за горизонта. Колеса чавкали в черноземе, выворачивая пласты сырой земли. Мавруша, верная служанка, ехала рядом, кутаясь в овчину. Тоска по родному дому гнала коней, но судьба уже расставила силки.

У межи, где кончалась Русь и начиналось Дикое поле, из ковыльной пыли вылетели всадники. Их гиканье разорвало тишину, как нож ткань. Стрелы засвистели — злобно, коротко, словно голодные гадюки. Дружинники оседали на сед-

лах, захлебываясь кровью. Половцы, дикие и быстрые, рубили возы, швыряли в грязь княжеские дары.

Мавруша действовала быстро, как зверь, спасающий детеныша. Она сорвала с Анны парчовый плащ, вымазала ей лицо горячей золой из кострища, накинула свой грубый холщовый платок. Княгиня исчезла. Под слоем грязи и страха стала простой рабыней. Половцы не разглядели царственной крови в этих лохмотьях. Пленниц погнали за Черные скалы, в глубь половецкого куреня.

В ставке хана Аргуна Анна стала тенью. Жизнь началась до рассвета, под удары бубнов, от которых ныли зубы. Она таскала ведра с ледяной водой, терла медные котлы до кровавых мозолей. Лицо ее всегда было черным от копоти, глаза опущены в землю, чтобы не встретить взгляда воина.

Среди невольниц шел тихий, липкий шепот. Хан проклят. Степь отвернулась от него. Сыновей нет — рождаются только дочери, а мальчишки умирают, не успев вдохнуть воздух. Аргун зверел, чувствуя, как престол уходит из-под ног. Говорили: проклятие снимет женщина с чистой душой. И он искал её каждую ночь, впустую тратя свою ярость.

Анна поняла страшное раньше других. Тошнота подступала по утрам, живот тянул тяжестью. Семя Мстислава проросло в ней. Она прижимала руку к чреву, чувствуя холод ужаса. Беременность. Княжеский ребенок в плену — это смерть. Если половцы узнают, кто она, плаха станет милостью.

Пришла её очередь. Старая надсмотрщица, пахнувшая кислым потом, ткнула Анну в спину. Грубые руки волокли её к реке, окатывали ледяной водой, смывая грязь дней. Толкнули в шатер.

Внутри было душно и тяжело. Пахло волчьими шкурами, резким кумысом и мужским потом. На подушках, покрытых дорогими тканями, сидел Аргун. Его глаза, синие и пустые, скользнули по Анне. Он поморщился: простая, невзрачная, страшная. Не та, что нужна. Но время уходило, и хан махнул рукой, приказывая подойти.

Одна ночь. Капкан захлопнулся. Кровавый узел завязался туго, на века.

Анна увидела его глаза впервые так близко. Они были не серыми или зелеными, как у всех степняков, а синими. Глубокими, как два лесных озера. Когда Аргун притянул её к себе на лисьи шкуры, время остановилось. Анна зажмурилась. Чужие тяжелые ласки обрушились на неё, ломая гордость. Она терпела, сжав зубы, молясь покровителям Чернигова.

Но эти глаза остались внутри. Огненная страсть хана пролетела кошмаром, но синий морок преследовал её во тьме шатра. Где она их видела? Этот вопрос мучил сильнее боли. Анна перебирала в памяти лица черниговских витязей, силась разгадать загадку.

Больше Аргун её не звал. Невзрачная чернавка не приглянулась властелину. Анна гнула спину под плетями, таскала воду, отмывала котлы. Но каждый раз, когда затихал рокот

бубнов, перед ней вставали те самые синие очи.

Скрывая беременность, Анна туго утягивала живот холстом. В редкие минуты тишины, деля сухой хлеб с Маврушей, она вспоминала детство. И вдруг поняла: такие же глаза были у её бабки. По преданию, та вела род от кочевого племени. Тайна крови, скрытая под иконами отчего дома, вышла наружу посреди полынного куреня.

Анна не знала: её с ханом связывало родство. Они были ветвями одного забытого корня. Семя Мстиславаросло на почве этого сакрального единства, о котором Степь еще не догадывалась.

Роды начались в изодранном шатре для рабынь. Ветер свистел сквозь дыры в войлоке. Мавруша принимала младенца, зубами перекусывая пуповину. Мальчик родился смуглым, красивым. Для половцев он был просто сыном рабыни и безымянного воина. Обычное дело. Кочевники равнодушно сплевывали, проходя мимо.

Шаг рока замер. Мавруша запеленала ребенка в тряпки. Анна прижала сына к груди, дав зарок выжить.

Прошло сорок дней. Младенец лежал в темном углу, укрытый серым холстом. Но утром он впервые открыл глаза навстречу тусклому свету.

Анна вскрикнула, прижав ладонь к губам. Она увидела их. Синие. Глубокие, как два озера. Бездонные очи Аргуна смотрели на неё с лица её собственного сына. Вековая правда крови сошлась в одной точке. Наваждение обрело плоть.

По куреню поползли слухи. Бабы-невольницы шептались у костров, боязливо косясь на синеглазого волка. Слух долетел до верха.

Тяжелый полог шатра отлетел в сторону. На пороге выросла высокая фигура Аргуна. Анна и Мавруша замерли, ожидая приговора.

Аргун не дал ей опомниться. Хан рывком выхватил младенца из рук, грубо отстранив онемевшую Анну. Вынес ребенка из полумрака шатра на слепящее полуденное солнце Дикого поля.

Мальчик зажмурился, а затем широко раскрыл глаза. Синие. Глубокие, бездонные, как степные озера в безветрие.

Аргун замер. По его телу пробежала дрожь, словно от удара кнута. В груди хана что-то оборвалось и тут же срослось заново. Проклятие отступило. У него родился сын. Вековое пророчество сбылось у порога нищего рабского жилища. Половецкий хан понял: он нашел ту самую, чистую душой, что сняла древнюю кару Степи.

Хан высоко поднял младенца над головой. Его раскатистый голос, прогремел над куренем: — У меня родился сын! Имя ему — Алтан! А мать его — главная женщина в курне! Моя жена!

Тысячи воинов пали ниц на сырую землю. Дикий, восторженный рев потряс степь, вспугнув птиц. Рок судьбы развернулся.

Аргун обернулся к Анне. Его взгляд больше не был брезг-

ливым. Он стал жестким, как булат.

— Отныне любой, кто посмеет взглянуть на неё с дурной мыслью, умрет.

Вчерашняя чернавка, таскавшая воду под плетями, стала хозяйкой ханской вежи. Капкан захлопнулся. Славянский сын Мстислава Юрьевича был наречен ханским наследником. Шли дни, недели, годы. Ковыльное марево Дикого поля вытягивало Алтана вверх, превращая хрупкого младенца в статного отрока. Степь закаляла его кости, ветер обветривал кожу.

...

Анна тайно учила сына русской речи. Затворялась с ним в глубине шатра, когда снаружи выли ветра и бродили дозоры. Шепотом, боясь, чтобы слог не улетел за войлок, она вкладывала в его память родные слова. Там же, в полумраке, омывала его родниковой водой, крестила во имя христианских святых. Рассказывала сказки о лесах и реках, которых он не видел. Втайне от хана нарекла первенца Станиславом. Это имя было её якорем, связью с Черниговом, с утраченной свободой.

Дни же Алтан проводил с отцом. Аргун оттаял. Рождение синеглазого наследника вернуло хану уверенность, смыло позор бесплодия. Свиный владыка стал наставником. Он лично ставил отрока в седло, учил натягивать тугой лук так, чтобы гудела тетива, рубиться на саблях, не чувствуя боли в руках. Хан лепил из сына воина, продолжение своей вла-

сти.

Анна же пыталась вылепить душу. Она вкладывала в сердце мальчика законы чести, лада и сострадания. Учила видеть в человеке человека, а не добычу. Боролась за милосердие против жестоких степных нравов.

Аргун слышал русские слова, вылетающие из уст сына. Хмыкал, кривил рот в усмешке, но молчал. В его извечной паранойе жил один страх — потерять наследника. Старик рассудил холодно: если русские боги хранят Алтана, пусть будут. Лишь бы сын жил. Проклятие отступило, и это был главный закон.

Так Алтан рос между двух огней. Впитывал целительное тепло материнской любви и жесткую сталь отцовской воли. Булат и милосердие выковывали его характер в одно целое.

Алтану четырнадцать. Чужие дети растут быстро, как трава после дождя. Отрок стал крепким, плечистым юношей. Лицо — славянское, но кожа смуглая, выжженная степным солнцем. А глаза — синие. Нечеловечески яркие, глубокие, как омуты в половодье.

Он уже твердо держал тяжелый булатный щит. Стрелял на скаку так, что стрела звенела, впиваясь в цель. Понимал законы кочевья с полуслова, впитывая их с молоком матери и пылью дорог.

Но в ставке Аргуна не всё было гладко. За спиной хана стояла тень — его младший брат Бачман. Коварный, расчетливый. Он буравил племянника черными, жесткими гла-

зами, словно искал трещину в броне. Бачман чувствовал: хан хочет нарушить вековой закон. По обычаю Степи, после смерти владыки власть переходит к старшему в роду, а не к сыну. Но Аргун, ослепленный любовью и чудом появления наследника, готовил Алтана к трону в обход всех кочевых корней.

Бачман тайно сжимал рукоять сабли у ночных костров. Вокруг него собирались недовольные воины, те, кто роптал на мягкость хана и чужую кровь в жилах наследника. Маховик заговора закрутился медленно, но неотвратимо. Над тихим семейным очагом Анны нависла новая угроза — холодная, острая, как лезвие булата.

Волчонок вырос. Бачман решил: час пробил. Пора Алтана с Анной вышибить из игры за власть.

Алтан в седле сидел, будто влитой, но в змеиных придворных петлях половецкой орды оставался слепым щенком. Младший брат хана чуял: не сломать сейчас этот ладный семейный очаг — завтра синеглазый волчонок заберёт престол Дикого поля, плюнув на древние кочевые законы.

Идти против Аргуна с открытым булатом — верная смерть. Тогда Бачман захлопнул свой потайной капкан, холодный, как лёд на полынье.

Из похода он привёз красавицуведьму — и та оплела хана чарами. Зейнаб — имя её звучало, как шелест сухой травы под сапогом. Бачман выменял девицу у дальних шаманов за Чёрными скалами, словно менял живого коня на тень.

Когда Зейнаб, шурша шёлковыми шароварами, шагнула в ханские палаты, у костров повисла тишина, острая, как лезвие. В её чёрных глазах тлел потайной огонь, а от кожи тянуло дурманом полыни и змеиным ядом.

На первом пиру ведьма поднесла Аргуну чашу с терпким кумысом, шепнув над влагой заклятие, древнее, чем кости в курганах. Чары сомкнулись мгновенно. Свирепый владыка Степи будто лишился своего ясного разума. Его очи затянуло мутной пеленой, а параноя вспыхнула, как сухая солома.

Аргун забыл про уговор с Анной — словно стёр его ножом с бересты. Зейнаб оседлала его волю, как дикого коня, и Анну отодвинула в тень.

Вчерашняя царица в одно дыхание лишилась ханской ласки. Аргун больше не глядел на славянскую княгиню — безгласно гнал её из главных шатров в дальний угол лагеря, туда, где ветер гнул жерди веж и скрипели козьи колокольцы. Даже батыры у костров отворачивались, пряча глаза, пока ведьма праздновала триумф на лисьих шкурах.

Алтан видел эту несправедливость. Сердце его сжималось, как кулак на морозе. Он хотел помочь матери, но был бессилен перед волей хана.

Сжав кулаки до хруста в суставах, отрок ворвался в шатёр отца. Аргун сидел, одурманенный ведовским зельем, и взгляд его был пуст, как небо перед бурей.

— Отец! — крикнул юноша, и в его синих глазах вспыхнул булатный гнев, острый и беспощадный.

— Какими глазами ты смотришь на мою мать? Ты прогнал ту, что спасла тебя от векового проклятия, ради этой чужачки с ядовитым взором! Очнись!

Но Аргун лишь оскалился, лицо его перекошилось, будто его мяти ледяными руками. Хан стукнул тяжёлой чашей по дубовому столу — звук ударил, как топор по пню.

— Замолчи, щенок! — голос хана был чужим, ледяным.

— Не тебе учить меня законам половецкой орды. Твоя мать — лишь бледная рабыня, а Зейнаб — солнце этих земель. Пошёл прочь, пока я не заковал тебя в кандалы!

Позади трона, укутанный в тяжёлый парчовый халат, стоял Бачман. Его губы кривились в ядовитой усмешке — он видел, как его интрига рушит семью, словно таран ломает старые ворота.

Алтан вернулся в убогий шатёр к Анне. Тепло очага больше не грело — в груди поселилась свинцовая боль, тяжёлая, как могильный камень. Он обнял исплакавшуюся мать за плечи и тихо, на тайной русской речи, шептал слова, которые не могли ничего исправить.

Молодой волчонок впервые кожей почувствовал, какова Степь на вкус — горькая, как полынь, и жестокая, как удар кнута. А за его спиной Бачман уже готовил следующий капкан — смертельный, без пощады, чтобы дотла выжечь черниговскую кровь.

Петля заговора Бачмана и полынных чар Зейнаб дошёл до кровавого излома. Пыльная степь дышала зноем — тяжё-

лым, как чугунная цепь. Над вежей занялся багровый расцвет, недобрый, будто кровь пролилась по небу. А великая трагедия Руси завязалась в глухой тишине — звенящей, как натянутая тетива.

Перед казнью, пока батыры ещё не выволокли невольниц на лобное место, Анна в шатре открыла сыну всю оголённую правду рода. Она прижала к себе Алтана, кожей чувствуя, как дико колотится его сердце под холщовой рубахой — будто птенец бьётся в кулаке.

— Возьми, Станислав, сынок мой синеглазый... — прошептала княгиня, и голос её лёг на воздух, как сухой ковыль ложится под косой.

Она вручила ему ладанку — холодную, как речной камень. Сказала, что в Чернигове у брата Бориса висит точно такая же — у самого сердца. Рассказала о тайне рождения:

— Храни её, не снимай ни в жисть. Ты не кочевой кукушонок, не половецкая кость. Твой отец — великий князь Мстислав Юрьевич. Вы с Борисом одной крови, до капли славянской. Помни, кто ты есть, волчонок мой!

В синих глазах Алтана застыла боль — острая, как осколок льда. Он не успел ответить. Тяжёлый полог, пахнувший кумысом и дымом, отлетел в сторону, и батыры Бачмана с диким гиканьем выволокли женщин наружу, на площадь, истоптанную копытами до голой земли.

Вокруг выл, улюлюкал, бесновался половецкий стан — тысячный, как грозовая туча. На помост вышел одурманен-

ный хан Аргун. Его чёрные очи затянуло мутной пеленой, а голос, вырвавшийся из груди, был чужим, ледяным. Он объявил об измене жены — и о казни.

Свирепый владыка рявкнул, что Анну и Маврушу привяжут к коням: они помогли пленным русским. Бачман и Зейнаб лишь ухватились за эту нитку — выставили милосердие за предательство, за подрыв чести ставки.

Рев батыров ударил по степи, как гром. Коней уже гнали тяжёлыми плетями — те храпели, чуя кровь, готовые разорвать плоть. В этот миг к трону хищно подскочил Бачман.

— О великий хан! — прошипел он, словно змея скользнула по камню, и ткнул булатным ножом в сторону отрока. — Этот щенок помогал матери! В нём течёт славянская гниль! Пусть его кровь прольётся сейчас — иначе взрастим змею на груди кочевья! Нельзя оставлять его в живых!

Батыры вскинули кривые сабли над подростком. Но в тот миг, когда сталь должна была рухнуть.

Глава 2

Сабли взметнулись — и ладанка вспыхнула. Не светом, а яростным огнём — рубиновозелёным, будто в ней разом раскололись тридцать миров. Пламя хлестнуло по глазам, коней шарахнуло назад, как удар бича по хребту, батыров откинуло, словно степной вихрь сметает сухие кости.

Аргун замер. В его синих очах на миг треснул морок — проглянул разум, острый, как лезвие, только что вынутое из ножен. Рука хана рванулась вперёд — не мягко, не властно, а грубо, помужски, как рубят лёд топором:

— Стоп! — голос грянул, как раскат над голой степью.

— Наследник останется жив. Отойди, Бачман! Его синие очи — закон моей крови!

Казнь свершилась позже. Коней пустили вскачь по жёсткой, иссушённой траве — та хрустела под копытами, как старая кость. Страшный излом Дикого поля оборвал жизни Анны и Мавруши в одно дыхание. Пыль взвилась серой волчьей шкурой и накрыла площадь, скрыв растерзанные тела.

Когда пыль осела, Алтан не закричал. Его губы стянулись в жёсткую, бескровную

линию, будто их прочертили ножом по замёрзшей глине. Внутри отрока рухнула дубовая стена с глухим, тяжёлым треском, погребая под собой всё тепло семейного очага. Кровь в жилах застыла, превратившись в колотый лёд, ост-

рый на изломе.

Он молча оттолкнул державших его батыров. Те боязливо расступились, пряча глаза, словно боялись, что взгляд отрока прожжёт им кожу. В его нечеловечески синих глазах теперь горел лютый, волчий огонь — не ярость, а холодная, выжженная степью решимость. Месть легла на душу — чёрная, тяжёлая, как чугунная глыба, брошенная в колодец. Детство оборвалось в тот миг, как сухая ветка под сапогом.

Полночь накрыла полынную ставку — тяжёлой, плотной тьмой, пахнувшей дымом, прогорклым жиром и горькой травой. Алтан шагнул в шатёр овдовевшего хана. Аргун сидел на лисьих шкурах, опустив седую голову, — и от него веяло не властью, а старицкой тоской, едкой, как дым от сырого костра. Морок отступил, оставив лишь похмелье и змеиную тоску, ползущую по жилам.

— Ты убил её, отец, — глухо, с надрывом произнёс отрок на тайной русской речи — той, что мать шептала ему ночами, пряча от степных ушей. — Ты послушал Бачмана и эту степную гадину. Ты разорвал конями ту, что спасла тебя от проклятия.

Хан медленно поднял синие очи. В них плескались паранойя и сыновняя боль — мутные, как вода в стоячем болоте. Его руки дрожали, как сухие ветки на ветру, — не от страха, а от бессилия, тяжёлого, как свинец.

— Не суди меня, Алтан! — хрипло выдохнул владыка, и голос его царапнул воздух, как ржавое лезвие по коже. —

В кочевье свои законы. Бачман кричал об измене, батыры роптали. Я сохранил тебе жизнь! Твои синие глаза — закон моей крови. Я уберегал твою живую плоть от плахи! Уходи, не бреди рану...

Отрок молча развернулся и шагнул в ковыльную тьму. Поток ярости уже нёсся напролом — тяжёлый, неумолимый, как камнепад в ущелье. Он знал, куда идти.

На краю Дикого поля, у Чёрных скал, в убогой юрте жил старый шаман — его род вёл начало от народа, стёртого с лица земли, как след на мокром песке. Старик встретил парня взглядом — зорким, потайным, глубоким, как два степных озера, в которых тонут звёзды.

Алтан упал на колени, сжимая ладанку у сердца — холодную, как речной камень, но живую, будто внутри неё билось второе сердце.

— Научи, старец, как извести ведьму, — прохрипел он, и голос его сорвался, как струна на морозе. — Булат её не берёт, яд в кумысе ей нипочём. Душа моя горит — дай оружие!

Шаман долго молчал, буравя отрока взглядом — не злым, не добрым, а древним, как сама степь. Потом веско, каменно изрёк:

— Зейнаб рождена от полынного морока и змеиного гнева. Обычная сталь её только укрепит. Её ведовская природа подчинится лишь первозданной степной твари. Иди в ковыль, найди чёрную гадюку у Семи стел. Возьми её силу. Если дух твой крепок — тварь подчинится. Если дрогнешь —

сам ляжешь в землю.

Алтан ушёл в Степь. Месяц висел в небе — тусклый, поведьминому кривой, как обломок лезвия. Ноги юноши тонули в сырой росе, холодной, как слёзы, а в груди kloкотала месть — горькая, как полынь, и тяжёлая, как цепь на каторжнике.

У подножия замшелой стелы, в густых зарослях полыни, он слышал сухое, леденящее шипение — будто кто-то тёр друг о друга две каменные плиты. Чёрная степная гадюка, толстая, как рука витязя, свилась в тугое кольцо. Её плоская голова приподнялась, бусины глаз блеснули в темноте, раздвоенный язык поймал запах плоти — тонкий, острый, как запах железа.

Тварь метнулась вперёд, целясь в грудь отрока. Но Алтан не шелохнулся. Упрямая гордость отца Мстислава и сила бабкистепнячки вскипели в венах, горячие, как расплавленный металл. Оголёнными руками, с бешеной скоростью волка, он перехватил змею под челюсть — жёстко, точно, без колебаний.

Гадюка яростно обвилась вокруг предплечья, сжимая мышцы железным кольцом, сочась липким ядом на серебряную ладанку — та вспыхивала тусклыми искрами, будто пыталась оттолкнуть тьму. Но четырнадцатилетний волчонок держал хватку — железной волей смиряя тварь, чувствуя, как под кожей змеи пульсирует чужая, дикая жизнь.

Юноша спрятал притихшую змею под холщовую рубаху

— она лежала там, тяжёлая и живая, как кусок холодной стали. И скользнул домой — бесшумно, точно ночной коршун, чьи крылья не шелестят в воздухе.

Он пробрался в богатые ханские палаты, где на шёлковых подушках почивала торжествующая Зейнаб. На её губах ещё блуждала сытая, изуверская усмешка — тонкая, как трещина на льду.

Алтан бесплотной тенью вырос над ложем. Медленно достал гадюку и опустил на обнажённую шею колдуньи — ровно, без дрожи, как кладут клинок на наковальню.

Змея вонзила зубы в нежную кожу. Зейнаб распахнула чёрные очи, и из груди её вырвался глухой, надрывный крик — нечеловеческий, разрывающий тишину, как треск разрываемой ткани. Чёрный яд хлынул по венам, в ту же секунду руша все полынные чары кочевья.

Лицо ведьмы багровело, покрываясь сухими жёсткими чешуйками, шершавыми, как кора старого дерева. Тело забилось в ломаных судорогах, кости хрустели, перемалываясь внутри плоти, а шёлковые шаровары превратились в длинный извивающийся хвост — скользкий, тяжёлый, как мокрая верёвка. Она погибала, сама становясь змеей.

С шипением и свистом огромная склизкая тварь скатилась с ложа на ковёр. Её плоть таяла, исходя едким дымом, пахнущим серой и гнилым деревом, пока не растворилась во тьме, оставив лишь запах серы, прах и пучок сухой полыни — ломкой, как пепел.

Капкан расплаты захлопнулся намертво — с сухим, окончательным щелчком.

АлтанСтанислав переступил через пепел врага. Его лицо было бледным, но нерушимым, как каменные стелы, стоящие в степи веками. Детство на этой кровавой плахе — оборвалось, как перерубленная верёвка. Впереди синеглазого волка ждала долгая дорога к Черниговскому венцу — жёсткая, прямая, как лезвие меча.

Время шло, не считаясь ни с клятвами, ни с проклятиями. Месяцы наливались тяжестью, как тугие бурдюки кумыса, годы оседали в степи серой пылью, прибитой дождями и выжженной солнцем. Пыльные суховеи раз за разом выжигали ковыльное марево Дикого поля, а следом на эти голые просторы наваливались лютые зимние бураны — свирепые, как волчья стая, что рвёт жилы у загнанного коня. Полая ставка жила своим вековым, размеренным ритмом — неторопливым, тяжёлым, будто каждый вздох здесь отмерялся ударами бубна старого шамана. Время гнуло к земле суровые дубы на дальних рубежах и перемалывало человеческие судьбы, стирая лица, оставляя лишь имена на камнях да шрамы на сердце.

С каждым рассветом, с каждой ушедшей луной хан Аргун становился всё суше и жёстче, как старое седло, что годами тёрло спину коня: кожа истончилась, жилы проступили, а в глазах поселилась усталая, колючая мудрость. А молодой Алтан мужал — не по дням, а по сечам. В его плечах

разливалась сила, тяжёлая и упругая, как натянутый лук из рога и жил; в движениях появилась та звериная собранность, когда удар рождается не из плеча, а из самой земли, из её холодной, терпеливой тяжести. Смуглая степная кожа, обожжённая солнцем и исхлёстанная ветрами, туго обтягивала скулы, а нечеловечески синие глаза, глубокие, как два горных озера, в которых тонут звёзды, заставляли умолкать даже бывалых пограничных витязей — те опускали взгляды, будто боялись, что этот ледяной свет выжжет им память.

За шесть лет полынное кочевье не сотрясали великие войны — лишь мелкие стычки на рубежах, вроде собачьей грызни у водопоя. Бег рока до времени затих, словно небо придержало грозу, давая земле напитаться тишиной перед ливнем. Старый хан ни на минуту не отпускал от себя Алтана. Извечная параноя Аргуна, годами точившая его душу, и леденящая змеиная тоска по казнённой Анне переродились в одну слепую, упрямую любовь к наследнику. Все советы, походы, охоты — вся жизнь хана теперь была пригнана к шагу сына, как клинок к ножнам. Владыка Степи засыпал и просыпался с одной думой: удержать отрока рядом, заслонить его от любого ветра. Он хотел загладить вину за то чёрное, свинцовое утро, когда кони разорвали плоть славянской княгини. Каждой новой почестью, каждым богатым даром старик будто пытался выжечь из памяти парня образ плахи, как пытаются вытравить клеймо раскалённым железом, зная, что шрам всё равно останется.

Отцовское раскаяние не знало границ — Алтану ни в чём не было отказа. Стоило ему повести бровью, и к ногам летели лучшие сабли с клинками, в которых плясал сизый узор закалки, шёлковые персидские халаты, тяжёлые от золотой вышивки, и чистокровные вороные жеребцы, горячие, как угли в костре. Власть его росла стремительно, без скрипа, как наливаются соком молодой стебель. За его спиной всегда стояли верные молодые батыры быстрые, злые, с глазами, привыкшими к крови; они готовы были по первому знаку вонзить ножи в любого, кто посмеет косо взглянуть на молодого волка.

Алтан полностью принял правила этой жестокой кочевой игры. Он не просто играл — он сжился с ней, как степной волк с запахом полыни. И он всегда был рядом с отцом надёжный, как щит из толстой бычьей кожи. Лучше, преданнее слуги и сына не было во всей степи. Он отважно вёл рати в самые опасные пограничные набеги, где воздух звенел от стрел, как тетива, самолично рубил врагов, не отводя взгляда от их глаз, и первым заслонял Аргуна своим тяжёлым щитом, принимая на него удары, что могли бы переломить хребет. Аргун радовался — его старческое сердце, иссушённое годами подозрений, будто исцелялось, видя в синеглазом юноше опору своей угасающей власти.

Зато его брат скрежетал зубами так, что слышно было даже в дальних кочевьях. Бачман уже не был тем хищником, что шептал заговоры в темноте. После того как Зейнаб с хру-

стом костей обратилась в прах и змею, ханское расследование безжалостно вскрыло все потайные ходы заговорщика — как ковыряют ножом старую рану, чтобы вычистить гниль. Аргун не казнил брата лишь из уважения к закону крови, но лишил его полков, пастбищ и всякого доверия. Статус Бачмана рухнул, как подрубленное дерево. Он стал бедным родственником за чужим столом: вынужден был глотать обиду, как горькую полынь, ловить объедки с ханского пира и брезгливо, через силу, кланяться в пояс молодому племяннику, чьи синие глаза теперь смотрели на него без страха с холодным, взрослым презрением.

А у Алтана всё складывалось хорошо по меркам степи, где счастье измеряется числом побед и тяжестью даров. Никто не догадывался, что он не родной сын. Тайный серебряный оберег — ладанка — неизменно грел грудь, скрытый под дорогими кольчугами, под слоями шёлка и войлока. Великий государственный обман укоренился в веже намертво, как старый дуб, чьи корни оплели камни.

Только вот образ матери уходил всё дальше, растворяясь в плотной, горькой пыли будней. Плотные полынные дни, звон сабель, конский топот и терпкий запах кумыса постепенно затягивали прошлое серой дымкой, как туман стелется по низинам, скрывая русла пересохших рек. Хрустальный голос Анны, её предсмертный шёпот о замурованном Чернигове и старшем брате Борисе всё реже тревожил душу двадцатилетнего воина. Слова эти теперь звучали как далёкий

набат, приглушённый расстоянием, будто кто-то бил в колокол на другом берегу широкой реки. Но веретено новой грозы уже закрутилось на самой порубежной черте Руси тихо, почти неслышно, как начинает гудеть натянутая тетива перед выстрелом.

В жилах Алтана бурлила горячая кровь двадцатилетнего витязя — не буйная, а собранная, как пружина, готовая распрямиться в ударе. Он брал от жизни всё, что швыряла к его ногам полынная Степь, но не с жадностью голодного щенка, а с холодной уверенностью хозяина.

Девушки в его гареме жили как невольницы, но в его шатре им было спокойнее, чем в любом другом углу курня. Шелковые покои его личного лагеря оставались золотой клеткой: под присмотром верных молодых батыров томились двенадцать чернооких степнячек и бледных славянок. Среди рабынь половецкой орды эти девицы считались отмеченными судьбой — им не приходилось до кровавых мозолей оттирать котлы у походных костров хана Аргуна, не свистели над их головами плети озлобленных надсмотрщиков. Здесь, в шатре Алтана, правила были жёсткими, но предсказуемыми.

Молодой султан бывал вспыльчив, как степной вихрь, что налетает внезапно и так же быстро стихает. Но он твердо держал зарок чести: бездумной жестокости не любил. Его нрав пленницы изучили до капли — знали, когда можно поднять глаза, а когда лучше прижаться лбом к ковру, когда молчать, а когда тихо запеть, чтобы смягчить тяжёлый взгляд. Для

него они были живыми красивыми игрушками, призванными скрасить суровые походные будни после звона сабель и конского топота, но он не ломал их, как ломают сухие ветки.

Среди них была одна — Любава, его фаворитка. Девушка с тонкими, будто выточенными из светлого дерева чертами лица и тяжёлой русой косой, что лежала на плече, как шёлковый канат. Её угнали батыры изпод пограничного Курска два лета назад, и Алтан забрал её в свои покои, кожей почувствовав в ней какуюто потайную, осязаемую родную силу, как узнают запах родного дома среди чужих запахов степи.

В глухие степные ночи, когда полынный курень погружался в хмельной сон, Любава садилась у ног молодого волка. Её тихий, сочный голос лился, как прохладная колодезная вода в жаркий день, рисуя картины далёкой Руси: замурованного Чернигова с его тёмными, древними стенами, бескрайних дубрав, где ветер поёт в верхушках сосен, и великих славянских князей, чьи имена звучали для Алтана как забытые заклинания. Он тихо молчал, закрыв свои нечеловечески синие глаза, и слушал, как девушка поёт про покой отчего дома — про избы, пахнущие хлебом и дымом, про тихие рассветы над рекой, про людей, что знают друг друга с детства и не ждут удара в спину.

В эти минуты серебряная ладанка у самого сердца жгла грудь особенно сильно — не огнём, а острой, колючей болью, будто металл помнил тепло материнской руки. Потайное славянское имя Станислав, данное казнённой матерью,

эхом отзывалось в его измученной душе, царапая изнутри, как сухая ветка царапает по коже.

У своей Любавы Алтан выпытывал в тихих ночных часах всё про обычаи славян — жадно, как путник пьёт воду из первого встречного ручья. Он ловил каждое её слово о вере, праздниках и законах далёкой Руси, стараясь удержать в памяти каждую мелочь, чтобы сложить из них картину того мира, который должен был стать его настоящим домом. Только про отца и брата она не знала ничего — обычная курская девица не ведала потайных кремлёвских тайн Чернигова, и это жгло душу молодого волка, как недоговорённое слово, застрявшее в горле.

Он смотрел на неё, будто сквозь дым костра — взгляд его синих очей становился туманным, далёким, улетающим мыслями к плахе покойной матери, к тем словам, что она прошептала ему в последний миг. Больше всего на свете Любава боялась этого нечеловеческого взгляда: когда Алтан замирал, буравя её синими озёрами глаз, она леденела от потайного страха, чувствуя себя маленькой и хрупкой, как глиняный кувшин на краю обрыва.

Юноша лихорадочно пытался представить лица Мстислава и старшего брата Бориса, но перед внутренним взором возникали лишь смутные тени, размытые, как рисунки на мокром песке. Он поглаживал под кольчугой серебряную ладанку, словно надеялся, что её холод подскажет ему дорогу.

Любава же думала только об одном: лишь бы угодить ему,

лишь бы не надоест. Она знала жестокие законы Степи: без милости царевича её мгновенно вышвырнут к общим котлам, на растерзание воинам, чьи глаза уже сейчас скользили по ней, как лезвия по коже. Они смотрели друг на друга, но каждый думал о своём: он — о забытых лицах родных, о дороге, что ждала его впереди; она — о том, как удержать тонкую нить своей жизни. Их потайные мысли мчались в разные стороны, как две птицы, сорвавшиеся с одной ветки, и звенящая степная ночь принимала их шёпот, не отдавая никому ответа.

Гнев рока, долгие годы дремавший под полынными ветрами Дикого поля, наконец сорвался со своих цепей с сухим, зловещим треском, от которого даже ковыль прилёг к земле, будто чуял беду. Степной покой полынной ставки, убаюканный лаской невольниц и хмельным кумысом, дал глубокую, невидимую трещину — такую тонкую, что её не разглядеть глазом, но по ней уже бежала дрожь, предвестница большой грозы.

Глава 3

Пора было выводить потайные козыри на поле грядущей войны. Повествование перешагнуло пограничную черту — туда, где за вековыми дубравами стоял замурованный Чернигов. После того как Анну угнали, минуло двадцать лет. Все эти два десятилетия славянские земли жили в глухом, предгрозовом ожидании — словно небо налилось свинцом, а молнии ещё не решались ударить. Великий князь Мстислав Юрьевич так и не смог выжечь из сердца леденящую тоску по жене: эта рана ныла каждый день, не давая ни сна, ни покоя, ни радости от побед. Но по закону крови жизнь в кремле не останавливалась ни на миг: под строгим взглядом сурового отца и старых воевод мужал и набирался веса старший сын Анны — Борис. Ему исполнилось двадцать четыре года. Теперь это был могучий, плечистый славянский витязь, точная копия своего отца: те же синие очи, каменнотвёрдый подбородок и упрямый, волчий нрав черниговского корня. С малых лет он не помнил материнского тепла, и эта потайная сиротская боль переплавилась в груди в глухую, яростную ненависть к половецким кочевникам, как железо в горне: сначала краснеет, потом белеет, а потом становится твёрже камня.

Аргун намеренно, после смерти жены, шесть лет щадил черниговский удел. Хан твердо помнил ту единственную

ночь и синие озёра глаз новорождённого Алтана, и потому долгие годы зарок тишины хранил славянские рубежи от полыннных набегов. Но Борису было невдомёк: молодой витязь не знал потайных причин этого степного затишья. В его груди горела лишь лютая, свинцовая обида за угнанную двадцать лет назад мать — рана, что не затягивалась, а только саднила сильнее от каждого нового рассвета.

Он намеренно усиливал дружину, лелея надежду перейти пределы Дикого поля. Все эти годы Борис до кровавого пота ковал тяжёлые мечи, собирал под своё крыло лучшие славянские сотни и закалял нрав своих воинов — не криком и плетью, а собственным примером, первым вставая в строй и последним покидая поле. И этот день настал. Жернова великой расплаты сорвались с тормозов. Копыта сотен богатырских коней резво застучали по весенней траве, ломая пограничную черту Руси, как сухая ветка ломается под сапогом. Борис ехал впереди войска — прямой, неподвижный, будто высеченный из камня. Солнце зловеще бликовало на его кольчуге, играя сизыми отсветами закалённой стали, а синие очи черниговского волка остро буравили горизонт, не видя ни птиц, ни облаков, ни самой степи — только грядущую битву. В его разуме стучала одна упрямая, оголённая дума: Степь должна ответить ему за мать.

Порубежные лазутчики, быстрые и бесшумные, как коршуны в высоком небе, принесли чёрную весть в полыннную ставку. Аргун принял вызов. Старый хан хищно оскалился

— в этом оскале не было веселья, только звериная готовность к схватке. Его былая паранойя вспыхнула с новой силой, острая, как старый клинок, что годами лежал в ножнах, но не потерял режущего края. Он послал Алтана навстречу — поставить русских на место. Владыка курня полностью доверял своему двадцатилетнему синеглазому волку, за чьей спиной всегда стояли верные молодые батыры — быстрые, злые, привыкшие к запаху крови и стуку копыт. Старик чинно рассудил, что слишком высоко вознёсся Борис, раз посмел с открытым мечом нарушить вековые степные законы — будто юноша, впервые взявший в руки саблю, решил помериться силой с бурей.

Двадцатилетний Алтан, крепко поцеловав у костра фаворитку Любаву — так, словно хотел запомнить на миг её тихий, тёплый запах, — проверил серебряную ладанку под доспехом. Металл был холодным, но живым, будто сердце, что бьётся в чужой груди. Он вскочил на вороного жеребца — тот рванулся вперёд, едва коснувшись земли копытами, как стрела, сорвавшаяся с тетивы. Алтан повёл свои полки навстречу славянской лавине не с ненавистью, а с холодной, собранной решимостью, готовый пролить кровь чужаков ради покоя своего ханаотца, ради той жизни, что дала ему степь.

Две судьбы, два родных брата, чьи пути годами текли в разных руслах, теперь неслись навстречу друг другу на бешеной скорости, как два камня, сорвавшиеся с разных склонов и летящие к одной точке удара. Их рок мчался к Семи ка-

менным стелам — к тому самому месту, где завязался самый первый узел их общей, страшной расплаты по закону крови. Там, у древних камней, чьи грани были иссечены ветрами и временем, должна была решиться судьба и братьев, и земель, и всего того мира, что они называли домом.

Земля ухнула под копытами — будто степь вздохнула и тут же захлебнулась криком. У Семи стел вспыхнула сеча: дубовый щит треснул под ударом, сталь лязгнула, как волчий оскал, а ковыль потемнел от горячей крови.

Стрелы встали в небе чёрным частоколом. Пыль взвилась серой волчьей шкурой, забивая глотки, слепя глаза. Хрип коней сливался с криками — единый, звериный рёв, рвущий воздух.

В самой гуще вихрем кружились братья. Борис налетел, как медведь на лося, — тяжёлый меч рухнул сверху, высекая искры из кривой сабли Алтана. Сталь пела, звеня по жилам, отдаваясь в костях.

Борис давил силой — в каждом замахе копилась двадцатилетняя обида, горькая, как полынь на зубах. Алтан уходил от ударов, юркий, как коршун в вихре, кружил, выискивая щель в броне. Степь научила его не биться лбом в стену — она учила бить туда, где хрустнет.

Ловкий нырок, подсечка — и княжий жеребец рухнул на колени, всхрипнув, будто из груди у него вырвали дыхание. Борис грохнулся в траву, меч улетел в ковыль. Алтан прыгнул сверху — быстрый, как молния над степью, и прижал

брата коленями к сырой земле. Сабля зависла над горлом — один рывок, и всё кончится.

И тут из разорванного ворота выскользнула ладанка. Серебряный кружок качнулся на кожаном шнурке, точно такой же, как у Алтана под кольчугой. Тот самый узор, что мать выводила дрожащими пальцами.

Время треснуло. В синих глазах Алтана застыл ужас — не перед клинком, а перед правдой, тяжёлой, как могильный камень. Голос матери ударил изнутри, как раскат грома: «У тебя есть брат Борис. У него такая же ладанка!»

Сабля выпала из пальцев, звякнула о землю, будто сама отказалась от крови. На миг всё стихло: ни криков, ни звона, только ветер шевелил ковыль да серебро тихо покачивалось, как маятник судьбы.

Секунды хватило. Сзади налетел славянский дружинник — обух топора ударил в затылок. Хруст, тьма, земля рванулась навстречу. Алтан рухнул, как подрубленное дерево, и мир погас.

Кандалы щёлкнули на запястьях — холодные, тяжёлые, пахнущие железом и кровью. Металл впился в кожу, став приговором.

Половецкие всадники дрогнули. Видя, что вожак повержен, они рванули прочь, кони летели, взбивая пыль, будто пытались убежать от собственной тени. Степь глотала их силуэты, оставляя на поле только стоны, кровь и запах гари.

А Алтана подняли, швырнули на коня — руки скручены,

голова бессильно мотается. Его везли в сторону Воронежа, в отчий дом, где ждали не объятия, а суровый взгляд отца и глаза брата — чужие, как лезвие меча.

На Семи стелах оседала пыль. Она ложилась серым пеплом на мёртвых и раненых, на остывающие клинки и сло-манные стрелы. Ветер тянул горькую вонь полыни и крови — запах, который степь не забудет долго. И гдето в этой ти-шине уже зрел новый узел судьбы — тугой, как тетива, гото-вая сорваться.

Свинцовое порубежное небо тяжело нависло над славян-ским кремлем, когда кованые ворота Чернигова со страш-ным, замогильным скрипом отворились навстречу победо-носной рати. Впереди войска, крепко держа поводья, ехал Борис. Лицо его, покрытое пороховой гарью и каплями по-ловецкой крови, было мрачнее грозовой тучи. Позади его жеребца, привязанный тяжелыми сыромятными ремнями к булатным седлам, пешком шел он — пленный степной хан-жич. Двадцатилетний Алтан едва переставлял иссеченные ковылем ноги. Голова его, расколота сокрушительным уда-ром славянского обуха, нестерпимо ныла, а по смуглой ще-ке запеклась тонкая струйка бурой крови. Тяжелые желез-ные кандалы намертво сковывали его запястья, звонко зве-ня при каждом шаге. Весь город высыпал на площадь: бо-яре, чернь и старые гридни брезгливо плевали под ноги по-ловецкому волку, оглашая кремль яростным ревом. Свин-цовое небо навалилось на Чернигов — тяжёлое, будто про-

питанное дымом пожарищ. Кованые ворота со стоном, как у раненого зверя, распахнулись перед ратью. Впереди, стиснув поводья так, что пальцы побелели, ехал Борис. Лицо — в копоти и бурой крови, неподвижное, словно высеченное из старого гранита. Позади его жеребца, прикрученный сыромятными ремнями к седлам, брёл пленный.

Алтан едва волочил ноги, иссечённые жёстким ковылём, будто кто-то прошёлся по ним ножом. В голове гудело, как в пустом колоколе после удара; по смуглой щеке тянулась тонкая струйка запекшейся крови — тёмная, как смола на дубовой коре. Кандалы на запястьях глухо звенели при каждом шаге — звук был сухой, звериный, будто сама степь выдыхала сквозь металл.

Площадь вскипела. Бояре, чернь, старые гридни высыпали на улицы, как рой потревоженных ос. Под ноги пленному летели плевки — горькие, как полынь на зубах. Над детинцем катился яростный гул, густой и липкий, словно дёготь. Но Алтан не склонил головы. Его взгляд, ледяной и острый, буравил терема, будто хотел прожечь в них дыры. Под кольчугой, у самого сердца, тихо грела грудь серебряная ладанка — потайной узел, что связывал его с этим враждебным миром.

В белокаменных палатах пахло камнем и стылым холодом — могильным, пробирающим до самых костей. На дубовом троне, тяжёлый, как гранитная глыба, сидел Мстислав Юрьевич. Рукоять меча он сжимал так, что жилы на руках взду-

лись, точно корни старого дуба. Рядом, тяжело дыша после сечи, стоял Борис — в ноздрях ещё держался запах гари и конского пота.

По знаку воеводы стражники швырнули Алтана на колени. Кандалы звякнули — гулко, зловеще, будто сама судьба хлопнула дверью. Юноша медленно поднял голову. Изпод спутанных волос его взгляд — гордый, упрямый, как у волка в капкане, встретил взор князя.

— Кто ты такой, степной выскочка? — голос Мстислава грянул, как раскат грома.

— Твои батыры бегут в Дикое поле, как побитые псы. Зачем привёл орду на порубежную черту Руси?

Алтан лишь хищно оскалился. Зубы стиснул твердо, до хруста. Ладанка под кольчугой жгла грудь, но маска половецкого волка держалась крепко. Он не выдаст потайную правду своего рождения.

— Я сын великого хана Аргуна! — голос его ударил, как хлыст.

— Мой отец принял ваш вызов. Вы слишком высоко вознеслись, славяне. Степь никого не боится!

Борис шагнул вперёд — резко, как клинок из ножен. Кулак сжался, белый от напряжения.

— Ты ответишь за каждый сожжённый хутор! — крикнул он, и в голосе звенела сталь.

— Палач быстро выбьет из тебя спесь. Ты расскажешь нам все потайные планы кочевья, или твоя голова украсит чер-

ниговские ворота!

Тишина в палатах стала плотной, как сырая глина. Никто не заметил ладанку — она скользнула обратно под доспех, укрывшись до поры, как змея в траве.

Подземные казематы встретили Алтана смрадом гари, сырости и запекшейся крови, запах был тяжёлый, как мокрый войлок на плечах. Железные цепи прикрутили его руки к дубовой дыбе — дерево было старым, растрескавшимся, будто само помнило стоны прежних узников. В щелях между досками темнели бурые пятна — следы чужой боли.

Мстислав шагнул ближе — тяжёлый, каменный, как судьба. В руке — плеть с булатными наконечниками: сыромятная, жёсткая, как волчья жила.

— Говори, половецкий кукушонок! — выдохнул князь, и первый удар со свистом рассёк рубаху на груди Алтана.

— Зачем привёл орду? Каковы потайные планы хана Аргуна?

В ответ — только гортанный клекот, ядовитый, как змеиный шип. Алтан сжимал зубы — намертво, не разжимая. Он прятал знание: он понимал славянскую речь. Но ни единым вздохом не выдал, что мать — Анна — тайком учила его словам родного народа. Только кровь стекала по губам, падая на пол тяжёлыми каплями, каждая капля стучала, как отсчёт.

Плеть свистела снова и снова. Каждый удар ложился на кожу, как раскалённый прут. Кровавые полосы расцветали

на смуглых плечах , будто степные закаты, что гаснут в пыли. Но юноша не кричал. В нём сплетались две жилы: степная гордость — жёсткая, сухая, как ковыль под ветром — и славянский нрав — упрямый, строптиво твёрдый.

А Борис стоял в тени свода — неподвижный, как высеченный из камня. Его разум грыз один вопрос, острый, как зазубренный клинок: почему Алтан не добил? У него была победа , сабля висела над горлом, один рывок — и всё кончено. Но степняк дрогнул. Опустил руку. Подставил затылок под удар. Зачем?

Перед глазами витязя снова мелькнула та секунда у Семи стел: ордынский вожак сверху, глаза — синие озёра, в них — не злоба, а что-то чужое, непонятное. И этот миг слабости стоил ему свободы.

Когда Мстислав снова занёс плеть над полубессознательным Алтаном, Борис шагнул вперёд — резко, твёрдо. Перехватил жилистую руку отца.

— На сегодня хватит, — голос Бориса звучал ровно, но в нём звенела туго натянутая струна.

— В беспамятстве он нам ничего не скажет. Пусть степной волк остынет в кандалах до рассвета. Завтра я сам попробую открыть его потайной замок.

Мстислав тяжело выдохнул — воздух вышел из груди, как из проколотого меха. Бросил плеть на пол. Металл звякнул глухо, без эха.

Князь и витязь молча вышли, плотно закрыв за собой ко-

ваную дверь. Замок щёлкнул — сухо, окончательно. Узел семейной драмы замер до первых лучей солнца.

Глава 4

А в темноте остался Алтан — прикованный, измученный. Он медленно сжал в пальцах серебряную ладанку, будто она могла удержать его на краю пропасти. В тишине казематов слышалось только его хриплое дыхание да далёкий, глухой стук капель, падающих с сырых сводов — как отсчёт времени, что утекало сквозь пальцы.

Тяжёлый полог сырого каземата упал, отрезая тьму от тьмы. Борис не отходил от отца — шёл вровень по тёмным переходам кремля, шаг тяжёлый, как удар молота по наковальне. В груди у него ворочалась не ярость — расчёт, острый и холодный, как лезвие.

— Остынь, отец! — голос Бориса ударил сухо, без крика, но в нём звенела туго натянутая струна. Он перехватил сухую, жилистую руку Мстислава Юрьевича.

— Что будет, если Аргун подойдёт к стенам с многотысячной ордой, а его сын сдохнет на дыбе? Смотри правде в глаза: этот волчонок молчит намертво. Только кровью плюёт, и больше ничего. Убьём наследника — Степь обезумит. Аргун сотрёт Чернигов в пыль. А если вернём живым — может, пощадит город. Хоть часть людей сбережём.

Мстислав Юрьевич замер. Его массивный подбородок дрогнул — едва заметно, как трещинка по камню. Княжеская ярость наткнулась на холодную, железную логику сына

и встала, тяжело дыша. Он тяжело выдохнул, будто сбрасывая с плеч тяжёлый плащ.

— Пусть будет по-твоему, — наконец глухо произнёс князь.

— Но не ради жалости. Ради города.

Решили послать к пленнику священника Иону — пусть подлатает раны. Старый пастырь умел врачевать не только плоть, иссечённую плетью, но и потайные изломы души.

Тяжёлая дубовая дверь каземата со скрипом отворилась, будто стонала от тяжести веков. Иона вошёл во тьму, держа в руках старый ларец с травами и кувшин с родниковой водой. Пламя лампы дрожало в его пальцах, отбрасывая на стены кривые тени, похожие на когти.

Он тихо опустился перед дыбой. Руки у старца были сухие, но пальцы — ловкие, как у гончара. Ласково, без спешки, он омывал иссечённые плечи Алтана. Вода темнела, смешиваясь с кровью, и стекала на пол — капля за каплей, как слёзы земли.

Алтан сначала только сжимал зубы, давя стон. Но тихий, целительный шёпот Ионы на славянской речи пробил броню его молчания. Слова лились, как тёплый воск, заполняя трещины. Маска половецкого волка дала трещину.

— Мать... — глухо выдохнул Алтан, захлёбываясь болью. — Анна... Она учила меня говорить... по-вашему... А отец мой кровный - великий князь Мстислав Черниговский.

И тут из-под рубахи выскользнула ладанка. Тонкая, сереб-

ряная, с тонкой вязью узора — она хрустальным светом блеснула в дрожащем свете лампы. Иона замер. Сердце у него ёкнуло, будто кто-то сжал его в кулаке.

Он узнал оберег. Это была та самая ладанка из Константинополя, что он сам когда-то подарил на свадьбу Мстиславу и прекрасной Анне. Двадцать лет назад он благословлял их в храме, вкладывая в ладони молодых этот серебряный знак. Теперь он лежал в его собственных руках — тёплый от крови юноши.

Память ударила, как раскат грома. Перед глазами встали те дни: светлый храм, запах ладана, юная Анна с сияющими глазами... И вот теперь её сын висел на цепях, израненный, но не сломленный.

Старый пастырь медленно прикрыл глаза. По щекам его скользнули потайные слёзы — тихие, беззвучные, как дождь по крыше. Он наклонился к Алтану и тихо прошептал:

— Молчи, дитя. Я никому не скажу. Клянусь крестом и хлебом — твоя тайна уйдёт со мной в могилу.

Он дал обещание, намертво запечатав его в сердце.

Тяжёлая дверь каземата снова со скрипом распахнулась. Иона вышел наружу, переступив порог, будто из одной судьбы в другую. На крыльце терема, под свинцовым черниговским небом, его ждали Мстислав Юрьевич и Борис. Князь стоял, опершись руками на рукоять меча — тяжёлый, неподвижный, как каменный идол. Его взгляд буравил старца, выискивая правду в каждой морщинке.

— Ну что, отче? — голос Мстислава грянул, как гром над степью. — Жив ли половецкий кукушонок? Заговорил ли на дыбе? Открыл ли планы Аргуна?

Иона остановился. В пальцах он бережно сжимал ларец с травами — дерево было гладким, тёплым, как память о чём-то добром. Он слабо выдохнул, пряча в груди ту самую тайну, которую только что поклялся хранить.

— Жив, княже, — тихо, но твёрдо ответил старец. — Раны я омыл, лихорадку сбил целебными травами. Но молчит он твердо. Ни слова не проронил — только зубами скрипит. Прав твой сын: силой из него ничего не выбить. Надо ждать. Пусть Аргун сам подаст знак из своей вежи. Степь не говорит на языке плети.

Борис чуть заметно кивнул — в его глазах мелькнуло облегчение, смешанное с тревогой. Мстислав тяжело вздохнул, будто с плеч его свалился камень, но взгляд оставался острым, как лезвие.

Колесо рока замерло на миг — не остановилось, а лишь втянуло воздух перед новым, страшным поворотом. А где-то в темноте каземата, прижавшись щекой к холодному дереву дыбы, Алтан сжимал в пальцах серебряную ладанку. И в этой тишине, среди запаха крови и гари, впервые за долгие годы он почувствовал — он не совсем один.

Лавина рока, разогнавшись у черниговских стен, со свистом перелетела рубеж — и над Диким полем сразу потянуло полынной горечью, будто сама степь выдохнула обиду. В

курне хана Аргуна покой рассыпался, как сухая глина под сапогом: по тропам, взбивая пыль до неба, влетели остатки войска. Скакуны хрипели, бока у них ходили ходуном, пена липла к шерсти, как седая изморозь. Молодые батыры рухнули ниц у ханского шатра — лица чёрные от копоти, глаза белые от страха, рты раскрыты в беззвучном крике.

Хан Аргун услышал весть — и будто ледяной клинок вошёл в грудь: он застыл посреди персидских ковров, тяжёлый, как гранитный идол. Сердце, когда-то ожившее от крика синеглазого сына, теперь сжималось, как проколотый мех.

— В кандалах?! Мой Алтан?! — голос хана грянул, как удар бича по степи. Тяжёлый кубок разлетелся в щепки, брызнув вином по коврам — алые пятна легли, будто капли свежей крови.

— Поднять всех! От Чёрных скал до Каспия — седлать коней! Если черниговский князь прольёт хоть каплю крови моего сына, я сотру его город в пыль, а пепел развею по ветру!

Позади трона, в тени парчового полога, неподвижно стоял Бачман. Младший брат хана склонил голову — покорно, как сухой ковыль под ветром. Но в чёрных глазах его тлел огонёк, острый и злой, как искра от кремня. Капкан, который он годами выстругивал в тишине, наконец щёлкнул: племянник выбит из игры — и теперь степь будет слушать только его голос.

Ночь в черниговских казематах легла на камни, как тяжё-

лый войлочный полог. Сырость въедалась в кости, пахло гарью, прелой соломой и запёкшейся кровью — запах был густой, липкий, будто сам воздух здесь был пропитан болью. Тяжёлая кованая дверь приоткрылась без скрипа — будто тьма сама расступилась. Лунный луч скользнул по камню, выхватив из мрака угол, ржавые скобы, тёмное пятно на полу.

Борис вошёл бесшумно. Без доспехов, в простой холщовой рубаше, он ступал так, будто боялся спугнуть тишину. В груди у него ворочалась не ярость — тугая, колючая загадка, что грызла его весь день, как голодный волк.

Алтан сидел в углу на охапке прелой соломы. Его сняли с дыбы по слову Ионы, но боль всё равно жила в нём — тянулась по плечам жгучими нитями, впивалась в кожу, как зазубренные крючки. Кожа на плечах потемнела от запекшейся крови, губы потрескались, но в глазах держался упрямый блеск — как у загнанного волка, который всё ещё ищет лазейку.

Он поднял голову — медленно, будто каждое движение стоило ему капли крови. Взгляд скользнул по Борису и застыл.

Борис остановился напротив. В полумраке его синие глаза казались чёрными — и в них плескалась не злоба, а острая, режущая правда.

— Смотри на меня, степной змей, — голос Бориса прозвучал сухо, как треск ломающейся ветки. — У Семи стел

твоя сабля лежала у моего горла. Ты побеждал. Но опустил руку. Почему?

Секунда повисла между ними — плотная, как сырой туман над болотом. Алтан чувствовал, как страх холодными пальцами сжимает внутренности. Одно слово — и всё рухнет. Степь вспыхнет, как сухая трава, и сожжёт всех: и Чернигов, и кочевье, и его самого.

— Случайно, — хрипло выдохнул он, выдавливая слова, будто выдирали их из горла. — Рука устала. Клинок скользнул. В бою всякое бывает. Не ищи добра там, где его нет. Верни тот миг — я бы ударил. Обязательно ударил.

Борис не сводил с него глаз. Он вглядывался в лицо пленника, будто хотел прожечь его насквозь, добраться до самой сердцевины. Но видел только упрямую маску — жёсткую, как высохшая глина.

А Алтан цеплялся за эту ложь, как утопающий за корягу. В груди ворочался свинцовый ком страха: если правда вырвется наружу, если Аргун узнает, что в жилах его наследника течёт славянская кровь, — степь не пощадит никого. Ради всех он должен молчать. Даже если каждое слово будет обжигать язык, как раскалённое железо.

Наконец Борис выдохнул — тяжело, будто сбрасывал с плеч невидимую тяжесть. Плечи его чуть опустились, но взгляд остался острым. Он развернулся и пошёл к двери. Шаги отдавались в пустом каземате — гулко, как удары молота по железу.

Кованая дверь закрылась с сухим, окончательным стуком. Замок щёлкнул — и тишина встала стеной.

Алтан остался один. Он медленно опустил руку к груди, нащупал под рубахой серебряную ладанку. Металл был тёплым — не от огня, а от его собственной, упрямой жизни. Он сжал её пальцами, будто она могла удержать его на краю пропасти.

В темноте слышалось только его хриплое дыхание да далёкий стук капель, падающих с сырого свода. Каждая капля отсчитывала миг — а где-то за стенами уже гудела степь, натягиваясь, как тетива лука. Громада рока набирала ход — и следующий поворот обещал быть самым страшным.

...

Утро на порубежной черте Руси занялось недобрым, свинцовым маревом — небо висело низко, будто придавленное тяжёлой плитой, и воздух был густ, как остывший дёготь. В белокаменных палатах черниговского кремля, где ещё пахло ночной сыростью и горьким дымом лучин, шёл суровый совет. Мстислав и Борис сидели друг против друга — не как князь и витязь, а как двое, у которых на весах лежала судьба города.

— Пусть пока лежит в каземате, — глухо произнёс Мстислав, проводя ладонью по седой бороде, жёсткой, как конский волос. — пытки из него слова не выбьют. А живой, да с ранами — он теперь не пленник, а рычаг. Если Аргун подойдёт — будем говорить с ним через сына.

Борис кивнул. В его синих глазах не было облегчения — только тяжесть, осевшая на плечи, словно мокрый плащ.

В сыром, тёмном каземате Алтан-Станислав лежал на прелой соломе. Плечи горели огнём, каждый вдох отдавался в ранах сухим треском, но он не стонал. Он лежал, прикрыв глаза, и слушал, как в тишине капает вода — капля за каплей, будто отсчитывала последние спокойные мгновения. Сквозь узкие щели под потолком тянуло прохладой, и это было единственное, что держало его в сознании.

А за стенами уже гудела земля. К полудню горизонт за крепостным валом почернел, будто кто-то накинул на степь тяжёлый войлочный полог. Из-за дальнего кургана, поднимая пыль до самого неба, выкатилась половецкая конница. Тысячи копыт били по земле, и от этого гула содрогались камни в кладке стен. Воздух наполнился гортанным криком, свистом плёток и ржанием коней — дикий, звериный голос степи.

Аргун привёл полки сам. Его вороной жеребец шёл впереди, тяжёлый, как грозовая туча, и в глазах хана горела ярость, острая, как лезвие. Он остановился в трёх полётах стрелы от ворот, поднял руку — и степь замерла, будто задержала дыхание.

Лазутчики подъехали к воротам, бросили к ногам стражи свёрнутый пергамент. На нём — три слова, тяжёлые, как камни: «Сына. Дань. Заложника». Взамен — обещание не жечь город. Но все знали: слово степняка держится на острие

сабли.

Весть о требовании Аргуна прокатилась по теремам, как пожар по сухой траве. Люди крестились у икон, гридни сжимали мечи так, что белели костяшки пальцев, а бояре переглядывались, и в их взглядах читался не страх — холодный расчёт. Но Мстислав сидел неподвижно, будто высеченный из камня. Его сердце сжималось, как проколотый мех. Отдать Бориса — значило вырвать из груди кусок живого мяса. Двадцать лет тоски по Анне, двадцать лет ожидания, что род не угаснет, — и теперь степь требовала последнего.

Но Борис не дрогнул. Он шагнул вперёд, и его фигура заслонила собой тусклый свет из окна. В синих глазах не было ни паники, ни горя — только упрямая, каменная решимость.

— Не надо ломать голову, отец, — голос его прозвучал ровно, без надрыва, но в нём звенела сталь. — Город — это не только стены. Это люди. Если я уйду — они останутся живы. Пусть Аргун заберёт меня. Я не боюсь степи.

Мстислав поднял на него взгляд — и в этом взгляде было столько боли, что у Бориса на миг перехватило дыхание. Но он не отвёл глаз.

— Ты — мой сын, — тихо, почти шёпотом, произнёс князь. — И ты — всё, что у меня осталось.

— Тогда сбереги то, что ты строил, — ответил Борис. — Пусть я стану ценой этого покоя.

Дождь хлынул внезапно — косой, частый, будто небо про-

рвало. Капли били по брусчатке, смешиваясь с грязью, и площадь перед воротами превратилась в бурое месиво. Ворота со скрипом, похожим на стон раненого зверя, распахнулись.

Первым выехал Алтан. Его освободили от кандалов, надели доспехи, подвели вороного жеребца — гордого, с горячими ноздрями. Юноша держался прямо, хотя каждое движение отзывалось в ранах жгучей болью. Он ехал медленно, будто не верил, что снова свободен. Его взгляд скользил по стенам города, по лицам людей, стоявших на стенах, — и в нём не было торжества. Только холодная, горькая пустота.

Следом вынесли сундуки. Гридни тащили их, увязая в грязи, лица у них были серые, как мокрая глина. Золото и серебро звякали внутри, глухо, без радости — будто плакало по утраченному.

И последним вышел Борис. Без доспехов, в простой холщовой рубаше, промокшей под дождём. Он шёл пешком, не торопясь, печатая шаг по лужам. Вода хлюпала под сапогами, но он не смотрел под ноги. Его взгляд был устремлён вперёд — туда, где, как тёмная волна, застыла половецкая конница.

Алтан придержал коня. Их взгляды встретились — на мгновение, короткие, как вспышка молнии. В глазах Алтана мелькнуло что-то, похожее на боль, но он тут же спрятал это за маской равнодушия. Он чувствовал, как внутри всё сжимается: брат шёл навстречу гибели, а он не мог ничего сделать.

Борис поравнялся с конём. Поднял голову, посмотрел прямо в глаза Алтану — и в этом взгляде не было ненависти. Только горькая правда.

— Не радуйся, половецкий волк, — тихо, но отчётливо произнёс он. — Мы ещё свидимся. И ты ответишь мне за мать.

Он не ждал ответа. Просто повернулся и пошёл дальше — прямо в гущу всадников, которые смыкались вокруг него, как чёрная вода.

Золото и заложника приняли без слов. Сабли блеснули, рассекая воздух, и конница, взметнув пыль, развернулась. Аргун подъехал к сыну, обнял его — крепко, до хруста костей, — и повернул жеребца назад. Полки потянулись за ним, унося с собой золото, заложника и последнюю надежду города.

Казематы опустели. Ворота закрылись. Дождь всё лил, смывая с брусчатки следы копыт и сапог. А где-то в глубине степи, среди ветра и полыни, уже зрел новый замысел — Бачман, младший брат Аргуна, сидел в тени шатра, и в его глазах тлел огонёк, острый и злой. Он ждал, когда орлы начнут кружить над добычей.

Веретено рока сделало ещё один оборот — тяжёлый, неумолимый. И никто не знал, что будет, когда оно остановится.

Глава 5

Обоз рока, скрипя кованными осями половецких телег, покатился прочь от черниговских стен — в иссушённое полынное марево Дикого поля. Золотая княжеская дань глухо гремела в кованых сундуках, будто сама земля стонала под её тяжестью, а многотысячная конница, вздымая рыжую пыль до самого неба, гнала коней вскачь — и этот гул был похож на далёкий, нарастающий гром.

Алтан ехал впереди отряда стремя к стремени с отцом, ханом Аргуном. Лицо его оставалось неподвижным, словно высеченным из тёмного камня, но внутри всё жгло — не раны, не плети, а эта упрямая, упрятанная правда крови, что ворочалась в груди, как раскалённый уголёк. Он то и дело косился назад, туда, где, задыхаясь в пыли, шёл Борис. И в этом взгляде не было торжества — только тугая, болезненная дума, что стягивала виски, как сыромятный ремень.

Наконец Алтан резко придержал вороного жеребца — тот всхрапнул, мотнул головой, будто чувствовал напряжение хозяина. Молодой султан махнул рукой, подзывая батыров.

— Эй, вы! — голос его грянул гортанно, с той самой степной хрипотцой, что режет воздух, как клинок.

— Подать сюда славянского витязя! Перекиньте ремни на луку моего седла. Живой привесок к дани — мой трофей по закону сечи!

Воины с диким гиканьем метнулись вперёд. Сыромятная петля легла на луку, стянула руки Бориса — туго, безжалостно, до белизны костяшек. Алтан снова тронул поводья, пуская жеребца шагом. В этом движении была своя железная логика: теперь Борис всегда будет у него перед глазами. Ни один лазутчик Бачмана не посмеет тайком ударить — не подступиться. Пусть все видят: пленник его, и только он решает его судьбу. Пусть степь верит, что синеглазый волк люто ненавидит славян. А ещё — пусть Борис тоже чувствует этот страх, этот холод неизвестности. Пусть они будут на равных — оба зажаты в тисках рока.

Борис шёл, глотая пыль, и каждый шаг отдавался в груди сухим, горьким кашлем. Ноги уже не слушались — разбитые, в кровавых мозолях, они цеплялись за жёсткие стебли ковыля, будто сами искали опоры. Но спину он держал прямо — так прямо, что казалось, будто она отлита из булатной стали. Он поднял голову, бросил взгляд вверх, на широкую спину Алтана, и в его синих глазах вспыхнула та самая упрямая искра, что не гаснет даже в ледяной воде.

— Что, степной змей, мало тебе золота моего отца? — голос Бориса прозвучал хрипло, но не сломался.

— Решил потешиться, как над рабыней на верёвке? Ну давай, гони своего мерина быстрее! Славянская кость не ломается!

Алтан даже не обернулся. Он смотрел вперёд, туда, где за Чёрными скалами уже темнели силуэты юрт, похожие на

притаившихся волков. Но в груди у него всё сжималось. «Терпи, брат, — шептали его мысли, быстрые и острые, как степные стрелы. — Я выдержал твои пытки и ты выдержишь. Держись за землю ногами. Смерть ходит за нами по пятам, но я не отдам тебя Бачману. Ты — мой пленник. И только я решу, когда оборвётся твоя нить».

Капкан великого обмана затянулся до предела. Борис шёл, чувствуя, как сыромятный ремень врежется в запястья, как каждый шаг отдаётся в измученном теле новой болью. А под холщовой рубахой, у самого сердца, грелась серебряная ладанка — точно такая же, как и у Алтана. Две одинаковые нити судьбы, сплетённые в один узел.

...

Путь истерзал Бориса до дна. Бескрайнее, выжженное солнцем поле плавилось под копытами коней, и каждый новый переход казался ему бесконечным, удушливым адом. Силы таяли, капля за каплей, как вода в раскалённом песке. В голове ворочались тяжёлые, змеиные мысли: он уже не верил, что Алтан пощадил его в бою. Теперь та секунда у Семи каменных стел виделась ему не как милосердие, а как холодный расчёт. «Не было там доброты, — шептал он про себя, переставляя разбитые ноги. — Степной волк просто хотел взять меня живьём, чтобы сломать гордость Чернигова, потешить вежи...»

Страх въедался в душу, как соль в свежую рану. Стоило ему замешкаться хоть на миг — споткнуться о корень, за-

медлить шаг — и тяжёлые кованые копыта половецкого табуна, шедшего следом, в одно мгновение растоптали бы его. Этот вечный, изнуряющий ужас упрямо выжигал волю. Мозоли на ногах кровоточили, пыль въедалась в трещины на губах, но страшнее всего была не боль — а эта глухая, звенящая пустота внутри, где раньше жила уверенность.

Он понимал: главные испытания впереди. Там, за Чёрными скалами, где затаился Бачман, его ждёт не просто дыба — медленная, позорная смерть на потеху всей степи. И посреди этого удушливого кошмара, когда конный отряд отсчитывал версту за верстой, Борис сжал ладанку под рубахой. Из его спекшихся губ вырвался тихий, надрывный шёпот:

— Господи, пусть этот путь не кончается... Пусть вечно горит это солнце, пусть пыль забивает лёгкие — лишь бы подольше идти за этим конём. Лишь бы оттянуть ту секунду, когда копыта замрут у первых юрт...

Ночной холод опустился на степь внезапно — будто кто-то накинул на землю тяжёлую, сырую дерюгу. От дневной жары не осталось и следа — только колючий ветер, что гулял по ковылю, да запах гари от костров, горький и едкий.

Отряд встал на ночлег посреди ковыльного моря. Батыры, хмельные от кумыса, горланили песни, швыряли в огонь сухие ветки, и пламя взметалось вверх, выхватывая из темноты их смуглые лица, искажённые криками. Борис лежал чуть в стороне, привязанный коротким поводком к колышку у коня ханжича. Руки затекли, мозоли ныли, каждый вдох давался

с хрипом. Но страшнее боли была тишина — та самая, что ложится на сердце перед рассветом, когда кажется, что выхода уже нет.

Когда лагерь наконец стих и хмельной гул сменился тяжёлым, неровным дыханием спящих, Алтан бесшумно поднялся. Он убрал саблю в ножны, спрятал под кафтан глиняный кувшин с родниковой водой — холодный, запотевший от ночной росы — и скользнул в темноту, словно тень от костра. Он обошёл посты, миновал дремлющих лазутчиков Бачмана — и опустился на колени перед Борисом.

Борис резко распахнул глаза — в них мелькнул первобытный, звериный страх. Он ждал удара, ножа в бок, последнего, короткого мгновения. Но Алтан лишь прижал палец к губам — тихо, молчи. Потом бережно приподнял его голову и поднёс кувшин к пересохшим губам.

Борис жадно, судорожно глотал ледяную воду. Она текла по подбородку, падала на грудь, и с каждым глотком в тело возвращалась жизнь — не громкая, не яркая, а тихая, как первый луч перед рассветом.

Они замерли друг против друга — два брата, разделённые степью, законами, страхом. В глазах Бориса плескалось недоумение, горькое и острое, как полынь.

— Зачем?.. — выдохнул он шёпотом, едва слышно. — Зачем ты это делаешь, змей? Чтобы я дожил до дыбы твоего дяди?

Алтан не ответил. Сердце его колотилось где-то у самого

горла, а серебряная ладанка жгла кожу, будто раскалённое клеймо. Он не мог сказать ни слова на славянском — боялся, что даже шёпот выдаст их тайну.

И тогда он резко вырвал кувшин из рук Бориса, поднялся во весь рост, и на гортанной степной речи бросил ему в лицо ту самую, ледяную фразу, что должна была заглушить любой намёк на доброту:

— Пей, славянский пёс, и живи пока. Рано тебедохнуть в ковыле. Твои мучения только начинаются!

Он резко развернулся и ушёл в темноту шатра, растворился в ней, как дым от костра. А Борис остался лежать, глядя в чёрное, беззвёздное небо. Страх и боль на миг отступили — их вытеснило другое чувство, тяжёлое и непонятное: глухое, звенящее недоумение.

Незримый занавес судьбы отсчитывал последние версты до Чёрных скал. И никто не знал, что будет, когда он наконец остановится.

И вот настал этот день.

Они подъехали к ставке.

Степь полыхала огнями костров — будто сама земля горела, выплёвывая в небо рыжие языки пламени. Тьма Дикого поля раздвинулась, обнажая исполинский лагерь: сотни дымных факелов колыхались, как живые, от ветра, и их отсветы плясали на войлочных стенах юрт, выхватывая из мрака то изогнутый край седла, то блеск кованой пряжки, то застывшее, напряжённое лицо нукера.

Весь многотысячный курень, завидев победоносное войско владыки, огласил полынную степь диким, улюлюкающим рёвом — этот крик был похож на вой стаи волков, почуявших кровь.

Железный конь Алтана замер у первых богатых ханских юрт — встал, всхрапнув, будто сам почувствовал, как воздух здесь стал гуще, тяжелее.

— Но вот мы и приехали, — весело, почти беспечно бросил Алтан. Впервые за весь путь он обернулся к Борису.

В его глазах — этих странных, нечеловечески чуждых глазах, унаследованных от бабки, на миг вспыхнуло потайное, ведовское пламя. Он жестко оскалился, резко дёрнув за сыромятный ремень, всё ещё привязанный к луке седла.

Борис медленно поднял взгляд. Его истерзанные ноги утонули в степной пыли, а каждый шаг теперь отзывался в теле глухой, тягучей болью. Но он не опустил головы. В этом медленном, тяжёлом движении было что-то каменное, будто он вытёсывал из себя эту стойкость, как мастер вырубает статую из гранита.

Он сжал серебряную ладанку под холщовой рубахой, пальцы впились в металл, словно тот мог удержать его на краю пропасти. Леденящий страх перед неизвестностью сжимал горло, но он не позволил ему сломать себя.

«Но вот мы и приехали...» — уныло, глухо подумалось ему.

Стержень его воли дал глубокую, невидимую трещину под

этим полынным небом. Он отчётливо понимал: этот лагерь, сейчас весёлый и шумный, завтра станет местом его самых лютых, позорных истязаний.

...

В кочевье встречали хана и его сына с ликованием. Половецкие женщины шуршали дорогими персидскими шелками, их голоса звенели, как натянутые струны. Батыры падали ниц на сырую землю, касаясь лбом пыли, прославляя си-неглазого наследника, вырванного из славянских кандалов.

Был большой той. Из огромных медных котлов валил густой, жирный пар от варёной конины — запах был тяжёлый, пряный, с привкусом дыма и полыни. Кумыс рекой лился в кованные чаши, и каждый глоток, казалось, смывал остатки разума, оставляя только хмельной, бешеный восторг.

Полынный лагерь хмельно бесновался и гулял до самых звёзд.

А посреди этого угара и шума про Бориса забыли. Он сидел у коновязи, привязанный, словно привесок к дани, и казался здесь чем-то лишним, ненужным — как забытый у порога мешок.

Ни один молодой воин Бачмана не подошёл к нему с плетью. Даже сам Бачман, затаившийся в тени шатров, пока не смел сорвать занавес своей интриги — все были слишком пьяны и ослеплены триумфом.

Один из пирующих батыров, весело хохоча, швырнул в него кусок мяса — полусырой, жирный, с волокнами жил.

Он шлёпнулся в пыль прямо у разбитых в кровь ног Бориса. Витязь намеренно отвернулся, сжав зубы до хруста. Но булатную славянскую гордость он не уронил — даже сейчас, сидя в пыли, он оставался княжеским сыном.

Из главных ханских палат, пошатываясь от хмельного кумыса, вышел Алтан. Его походка была твёрдой, но в движениях чувствовалась какая-то натянутость, будто он сам не верил в эту свою показную уверенность.

Он медленно подошёл к Борису, держа в руке кованый кубок. На глазах у протрезвевших стражников, которые вдруг стали тише, будто почувствовав перемену в воздухе, Алтан с издёвкой произнёс:

— Жри, славянин. Степь сегодня добрая. Он резко швырнул кубок на землю, и тот глухо звякнул о камень. Потом наклонился к самому лицу брата, так близко, что Борис почувствовал запах кумыса и степного ветра.

— Отдыхай, Борис. Сегодня ты гость за моим столом. А завтра посмотрим, какой ты батыр!

Борис поднял свои суровые синие глаза, и в этом взгляде не было ни страха, ни ненависти. Только упрямая, каменная решимость.

— Посмотрим,половецкий волк, — хрипло, едва слышно выдохнул он, глотая горький полынный дым.

— Моя кость крепка. Твоя дыба меня не сломает. Посмотрим завтра, чья кровь окажется сильнее!

Алтан хищно усмехнулся. Эта усмешка была как маска,

жёсткая, непроницаемая. Он резко развернулся и ушёл к пирующим, растворился в шуме и свете костров.

А в его мыслях лихорадочно стучало: «Ешь и набирайся сил, брат. Ночь я тебе подарил. Бачман до тебя сегодня не доберётся. А завтра начнётся наша самая главная, опасная игра — игра на выживание по закону крови...»

Братья на время расстались.

После короткой утренней стычки у коновязи колесо праздника снова закрутилось, разделяя две родные крови.

Борис продолжал сидеть в пыли, прижавшись спиной к деревянному столбу. Израненные ноги ныли, холщовая рубаха пропиталась едким потом, но он упрямо держал лицо, не позволяя половцам увидеть слабость.

А Алтан пошёл к праздничному дастархану. Он шёл мимо пирующих, ловя восторженные крики батыров, но теперь этот блеск шёлков и звон чаш не радовал его. В груди ворочалось что-то тяжёлое, чужое — предчувствие беды.

Оба не знали, что утро рождается в ночи.

И в этой ночи в веже произошёл потайной излом.

Алтан почувствовал это кожей, как холодный ветер, который вдруг пробирает до костей. Что-то случилось. Ему что-то недоговаривали.

Его зоркий, нечеловеческий взгляд волка мгновенно уловил перемены: молодые батыры виновато отводили глаза, старые воины напряжённо молчали, а Бачман откровенно торжествовал. Он сидел на лисьих шкурах у самого ханского

трона и хищно, сыто оскалился, завидев племянника.

Потайная паранойя ледяной змеей поползла по спине Алтана.

Нервы его были натянуты, как тетива лука. И он, уже не сдерживаясь, выкрикнул, останавливаясь посреди палат и буравя отца взглядом:

— Что случилось?! — голос его прозвучал сочно, с оголённым степным надрывом.

— Почему батыры прячут глаза, словно побитые псы? Почему у костров шепчутся, нарушая зарок тишины? Говори, отец!

Хан Аргун медленно поднял на него свои синие глаза. Его старческий голос прозвучал зловеще спокойно:

— Ничего особенного, сынок. Просто твоя наложница Любава попыталась сбежать с другим рабом. Она тебе изменила. Такое бывает. Завтра их обоих ждёт казнь. Ждали только тебя, чтобы ты сам свершил расправу.

Он отпил из кованой чаши и веско отсек любое прошлое:

— Остальных невольниц отдали батырам. Все они были повязаны в измене. Теперь твой шатёр пуст. В нём только связанная Любава ждёт тебя под стражей. Если хочешь — сам убей её.

Слова хана грохнули в разуме Алтана, как раскат грома, ломая домашний покой. Он оцепенел, чувствуя, как внутри всё сжимается в тугой, болезненный узел.

Пораженный, он вышел из палат. В груди kloкотал гнев,

а яростный славянский нрав Станислава внутри него кричал от страшной, несправедливой боли.

Капкан Бачмана захлопнулся идеально: он убрал Любаву с её русскими песнями, лишил племянника гарема и выставил его перед курнем рогоносцем, которого предали собственные рабыни.

Алтан тяжело швырнул походный кафтан на землю. Он шёл к своему шатру через притихший лагерь, сжимая в пальцах серебряную ладанку — она грелась от его руки, как живое сердце.

Он понимал: в опустевших шёлковых покоях его ждёт самый страшный, роковой выбор в жизни.

Полог шатра рванулся, будто его сорвал вихрь, и ткань, надсадно треща по шву, хлестнула по столбу, как плеть. Алтан ворвался внутрь — не шагнул, а влетел, словно его швырнула сама буря. Его тень, чёрная и угловатая, метнулась по узорчатым коврам, и в этом движении было столько ярости, что даже воздух в шатре, ещё хранивший запах ладана и пряных масел, вдруг стал колючим, как степной мороз.

— Вон! — рявкнул он, не глядя на воинов. Голос его грянул так, что у молодых стражников дрогнули руки, а в глазах мелькнул первобытный, звериный испуг. Они отпрянули, точно обожжённые, и, ломая каблуками узорчатый войлок, выскочили прочь, оставив после себя только горький запах пота и сырой кожи.

Тишина, упавшая следом, была плотной, тяжёлой — как

мокрая дерюга, накинутая на плечи. По потайным шёлковым покоем, где ещё вчера царил уютный покой, теперь стлался ледяной холод Дикого поля — он пробирался сквозь щели, шевелил края ковров, заставлял мерцать тусклые лампы. Шатёр казался выпотрошенным: ковры сдвинуты, сундуки опрокинуты, дорогие ткани валялись комьями, будто их рвали зубами. И посреди этого разорения, на голом войлоке, сидела Любава.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.